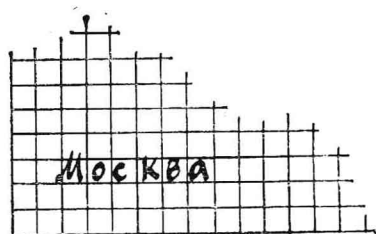


В работе перья

новеллы, рассказы

Москва
Советский
писатель
1986

В работе



ПОРЯДКО

повести, рассказы

Советский писатель, 1986

Составители:
Г. Н. Иванов и Н. И. Голосовская

Художник ИРИНА САЛЬНИКОВА

**В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ: Сборник. Повести, рас-
В 11 сказы.— М.: Советский писатель, 1986.— 544 с.**

Сборник коротких повестей и рассказов — результат литературного мастерства советских писателей, именитых и молодых. Перед читателем — коллективный портрет нашего современника, посвящающего свою жизнь народу, высоким коммунистическим идеалам.

В центре произведений — положительный герой, который, несмотря на различные жизненные обстоятельства, сохраняет духовную стойкость.

В 4702010200—049 99—86
083(02)—86

ББК 84.Р7

© Издательство
«Советский писатель», 1986 г.

Дни Грани

ЕЩЕ ЗАМЕЧЕН
СЛЕД

I

В конце квартала, когда к нам съехались представители заводов с заявками насчет инструмента и творился сущий бедлам, ко мне позвонила незнакомая женщина. Она принялась расспрашивать про Волкова, которого я должен знать, поскольку я воевал вместе с ним на Ленинградском фронте. Сперва я решил, что это недоразумение. Не помнил я никакого Волкова. Но она настаивала — ведь был же я в сорок втором и сорок третьем годах в частях под Ленинградом. Что значит — в частях? В каких именно? Она не знала; видимо, она представляла себе фронт чем-то вроде туристского кемпинга, где все могут перезнакомиться. В доказательство она назвала номер полевой почты. Как будто я помнил, какой у нас был номер. А вы проверьте, потребовала она. Интересно, каким это образом проверить? Меня все больше злила ее настырность. У вас же есть письма, невозмутимо сообщила она. Какие письма, закричал я, представив себе, что надо ехать за город, рыться в дачном сундуке. На это она, словно отвечая моим мыслям, сообщила, что специально приехала в Ленинград из Грузии повидать меня. Очень жаль, но тут какая-то ошибка, я Волкова не знаю, я занят, я не смогу ей быть полезным — так, со всей решительностью и сухостью, я обозначил конец разговора. В ответ она объявила непреклонно, что все равно повидает меня, хочу я этого или не хочу, и лучше не спорить, потому что потом мне будет неловко. Самоуверенность ее могла вывести из себя и более спокойного, чем я, человека. Я хлопнул трубку на аппарат. Она тотчас позвонила снова.

У меня сидели заказчики, и я должен был взять трубку. Она спокойно припнулась стыдить меня фронтовым братством, хваленой преданностью боевым друзьям, которые, не жалея сил, разыскивают друг друга, весь тот шоколадный набор, которым потчуют по радио и в праздничных телепередачах сладкоголосые, умиленные журналистки. Я взвился; неизвестно, что бы я наговорил ей, но она, не слушая, обещала привести какие-то неоспоримые факты, сыпала датами, именами и вдруг произнесла имя-имечко, каким меня звали давным-давно, окрестили те, кого уже не увидишь на этой земле. Те, кто засыпали со мною в казарме на двухэтажных койках, топали строем по булыжникам тихого Ульяновска с посвистом и песней. Там, в училище, и прилепилось ко мне: Тоха. Антон — Антоха — Тоха — так и докатилось до фронта, куда мы прибыли досрочными лейтенантами для прохождения службы в танковых частях, которых уже не было. Танки на Ленинградском фронте к тому времени превратились в огневые точки, закопанные в землю так, что торчала одна башня с орудием.

С тех пор меня никто не называл Тохой.

Ладно, сказал я, приходите.

Что-то у меня сбилось с этой минуты. Конечно, я дал слабину. На кой они нужны, фронтовые воспоминания, какая от них польза? Много лет, как я запретил себе заниматься этими цацками. Были тому причины.

Успокоился я на том, что все кончится просьбой насчет инструмента. Вне очереди или без фондов отпустить чего-то. Так всегда бывает. Откуда бы ни делались заходы, из любого далека — друзья-родичи, с женой в больнице лежали, — и вдруг: вот тут бумажечка, подпишите. Никто ко мне так просто, за здорово живешь, не приезжает.

На этом я успокоился, забыл о ней, и, когда назавтра она появилась, я не сразу сообразил, что это именно она. Появилась она в моем закутке как очередной посетитель из тех, что томились в коридоре. Остановилась в дверях, оглядывая меня недоуменно.

— Вы Дударев? Антон Максимович?

На дверях было написано. Никто не задавал мне здесь такого дурацкого вопроса.

Она продолжала изучать меня с непонятным удивлением и вдруг хмыкнула. Смешок прозвучал неуместно, обидно. Она представилась. Я узнал ее низкий голос по легкому кавказскому акценту. Фамилия ее была Нижерадзе, звали Жанпа, дальше следовало труднопроизносимое отчество, и

она просила звать по имени, как принято в Грузии. Была она немолода, много за сорок, но еще красивая крепкая женщина, копна черных волос нависала надо лбом, делая ее мрачно-серьезной.

Волков Сергей Алексеевич — повторяла она упрямо, как гипнотизер, следя за мною угольно-черными глазами. Я подтвердил, что не помню такого. Слова «не помню» вызвали у нее недоверие. Ей казалось невозможным не помнить Волкова. А Лукьянова я помню? И Лукьянова я не помнил. Это ее не обескуражило — наоборот, как бы удовлетворило.

После этого она успокоенно уселась, выложила на стол объемистую оранжевую папку.

— Может быть, вам неприятно вспоминать то время?

Если бы она спросила от души, может, я что-то и объяснил бы ей, но в тоне ее звучала укоризна.

— Как так неприятно? — сказал я. — Это наша гордость, мы только и делаем, что вспоминаем.

Она протянула мне письмо. Старое письмо, которое лежало сверху, приготовленное. На второй странице несколько строчек были свежо отчеркнуты красным фломастером:

«У нас лейтенант Антон Дударев отчаянно несогласен в том вопросе. По его понятию, любовь только мешает солдату воевать, снижает боеспособность и мужество. А вы как, Жанна, думаете? Милый этот Тоха, как мы его называем, жизненной практики не проходил, можно сказать — школьный лейтенант-теоретик. Я же доказываю, что сильное чувство помогает сознанию. За любовь, за нашу молодость мы боремся против немецких оккупантов и защищаем Великий город Ленина».

Лиловыми чернилами, какими теперь не пишут, косым ровным почерком, каким тоже уже не пишут, письмо говорило о том, кто когда-то был мною.

Гладкое лицо ее оставалось бесстрастным, жизнь шла в темноте глаз, она мысленно повторяла за мною текст, и где-то в черной глубине проблеснула улыбка. Это был отблеск той внутренней улыбки, с какой она сравнивала меня и того лейтенанта. Я увидел — ее глазами — обоих: тоненького, перетянутого в талии широким ремнем, в пилотке, которая так шла шевелюре, и в фуражке, которая так шла его узкому лицу, в кирзовых сапогах, которыми он умел так лихо щелкать, — молочно-розовый лейтенант, привычный портрет, который она набросала себе по дороге сюда, и другого — плешивого, с отвислыми щеками, припадающего на правую ногу от боли в колене; скучный, малопрятный, невеселый

тип, который и есть тот самый Тоха. Не ожидала она увидеть такого? От совмещения этих двух фигур и произошла улыбка. Наверное, это было и впрямь смешно. За тридцать с лишним лет каждого уводит куда-то в сторону. Никто не стареет по прямой...

— Это про вас написано? — спросила она.

— Может, и про меня, теперь трудно установить.

— Никакого другого Антона Дударева в Ленинграде нет. Вашего возраста, — добавила она.

— Чье это письмо?

— Лукьянова Бориса.

Она ждала. Она была уверена, что я ахну, пущу слезу, что из меня посыплются воспоминания. Ничего не найдя на моем лице, она нахмурилась.

— Пожалуйста, читайте дальше. Читайте, — попросила она. — Вы вспомните.

Она как бы внушала мне, но у меня даже любопытства не было. Ничего не отзывалось. Пустые, давно закрытые помещения. После смерти жены я перестал вспоминать. Преданность воспоминательному процессу вызывала у меня отвращение. Пышный обряд, от которого остается горечь.

«Молодость, как гордо звучит это слово. При любой обстановке она требует своего и заставляет человека испытать хоть маленькую дозу своего напитка. Жанна, я самый обыкновенный парень, это нас должно еще больше сблизить, конечно, если вы ничего не имеете против. Несколько слов о себе. Родился в 1918 году. До войны работал проектировщиком. Проектная работа мое любимое дело. Время проводил весело. Лучшим отдыхом были танцы. Музыка на меня действует сильно. В саду летом, в клубе зимой меня можно было встретить неумоимо танцующим вальс «Пламенное сердце», польское танго, шакопъ и другие модные танцы. В общем, люблю жить, работать и отдыхать. Жанна, прошу выслать фотокарточку, как та, которую я видел у Аполлона. Жду ответа, с Вашего позволения шлю воздушный поцелуй. Борис».

Конвертик розовенький, на нем слепо отпечатана боевая сценка — санитарка перевязывает раненого бойца. Такие конвертики и я посылал. Почему рисунок этот должен был успокаивать наших адресатов, неясно. Штемпель — май месяц сорок второго года.

Та блокадная весна... Молодая, неслышанно зеленая трава на откосе. Солдаты наши лазали за ней, варили в котелках крапиву, щавель, одуванчики, жевали, сосали сырую зе-

лень расшатанными от цинги зубами, сплевывали горечь. Слюна была с кровью. Вспомнилась раскрытая банка сгущенки. Она стояла на нарах, после обстрела в нее сквозь щели наката насыпался песок. Вот такие пустяковины брнчали в моей опустелой черепной коробке. Значки той поры. Как он съежился — круг, освещенный коптилкой. Со всех сторон подступал полумрак, в нем двигались какие-то тени, безымянные призраки.

— Припомнили?

— Нет.

— У меня есть фотография.

Она действовала с терпеливой настойчивостью, надеясь как-то оживить мои мозги явного склеротика.

Одна фотография пять на шесть, другая совсем маленькая — на офицерское удостоверение. На первой — мальчик, мальчишечка задрал подбородок, фуражка с длинным козырьком, плечи прямоугольные, скулы торчат, медалька какая-то блестит. Бессонница, голодуха обстругали лицо до предела, а вид держит бравый, упоен своей храбростью и верой, что обязательно уцелеет. Где-то и у меня валяется такая же карточка. Фотограф кричал: «Гвардейскую улыбочку!» Половина избы снесена. У печи угол затянут плащ-палаткой. Перезаряжать он лазил в погреб.

— Как же так, вы должны его знать, — совершенно непререкаемо сказала она, и я стал вглядываться.

— Это что же, адъютант комбата-два? — спросил я. — Так это старлей Лукьянов! Так бы сразу и говорили.

Чуб у него был золотистый, курчавистый. Послышался его хриплый хохоток. Франт, пижон, гусар — и отчаянный, без всякого страха. На другой карточке он уже капитан. На обороте написано: 1943 год, ноябрь. Полтора года прошло. А как повзрослел! Год передовой засчитывался нам за два, следовало бы его считать за четыре. По карточкам видно, как быстро мы старели. Тогда это называлось — мужали.

— Узнали! — сказала она. — Вот видите.

— Где он? Что с ним?

— Понятия не имею, — произнесла она, как мне показалось, без особого сожаления.

— Это все его письма?

— Часть его.

— Вам?

— Мне.

— Значит, вы с ним долго переписывались?

— Долго, — она кивнула, понимая, куда я клоню.

— И чем это кончилось?

— Плохо кончилось,— весело сказала она.— Но это сейчас неважно. Я писала ему как бойцу на фронт,— пояснила она.— Было такое движение. Помните?

— Да.

Я помнил такое движение. Оно приезжало ко мне в госпиталь, это движение, прелестное зеленоглазое движение.

— С ним в части служил и Сергей Волков,— тем же внушающим голосом говорила она, следя за моим лицом.— Сергей Волков.

— У вас потом с ним что-то произошло?

— С кем?

— С Лукьяновым.

— Ничего особенного. Что вас еще интересует?

— Не злитесь, вы же сами меня раздражали.

— Ничего между нами не было.

Она нахмурилась. Угрюмость ей шла. Недаром Лукьянов что-то нашел в этой особе. Он был ходок и разбирался в женщинах.

— Жив он?

— Не знаю.

— Как же так? — сказал я.

Она сердито мотнула своей черной гривой.

— Почему вы сами не знаете? Вместе воевали, друзья-товарищи, а я должна из вас клещами тащить.

— Да, не помню. Но не вам меня... Где вы раньше были? Явились не запыхались, когда все быльем поросло...— Кажется, я сорвался на крик, сам себя я не слышал, а сужу по тому, как Жанна выпрямилась, с каким надменным выражением слушала меня.— Извините, вы тут ни при чем...— сказал я.— Что вам, собственно, нужно?

— Мне нужно расспросить вас о Сергее Волкове.— Она раздельно вдабливала в меня каждое слово.

— Повторяю, я такого не помню,— так же раздельно ответил я.— К сожалению, я больше не могу отвлекаться.

Она поднялась, захлопнула папку.

— Тогда я вас подожду,— сказала она.

— То есть как это?

— Я не могу уехать, не выяснив.

— После работы я буду занят. Да кроме того, я вам уже все сказал.

— Вы вспомнили Лукьянова, вспомните и Волкова. Я буду вас ждать внизу, в вестибюле.

В кабинете было душно. Посетители сменялись. Я подпи-

сывал бумаги, сочувственно кивал, вздыхал, отказывал, отодвигал бумаги, а сам незаметно растирал пальцы. Стоило мне завестись, как у меня сводило пальцы. Лет пять уже таким образом давала знать себя рана в плече. Очнулась.

В каморке моей умещались два облезлых кресла, старый сейф, о который все стучались. В сейфе я держал лекарства, девочки прятали туда подарки, купленные ко дню рождения кого-нибудь из них. Полутемная скошенная кобура выдавала с головой однообразие моей работы, да и невидное существование остального конторского организма. Я никак не мог успокоиться. Вместо Жанны представился мне Борис, такой, как на фотографии: чуб из-под фуражки, ремень со звездой. Борис тоже небось ухмыльнулся бы, оглядев эту дыру и облыселое чучело за столом. Мог бы он узнать во мне лейтенанта, с которым в последний раз встретился на развилке шоссе в Эстонии? Я прогромыхал мимо него на новеньком танке «ИС» — тяжелый, могучий красавец. Колонна наша шла на запад. Я стоял по пояс в башне с откинутым люком. Кожаная куртка накинута на плечи, а на плечах погоны старшего лейтенанта. Черный шлем, ларингофончики болтались на шее. Мокрые поля, красные черепичные крыши хуторов, неслышные птицы в небе, неслышно кричит и машет след мой бывший батальон, слышен только грохот гусениц. Весь мир ждал нас, мы двигались освобождать его, мы несли ему справедливость, свободу и будущее! Кем только я не видел себя в мечтах! Будущее переливалось, играло всеми цветами. Ну и чего ты достигаешь, Тоха, спросил бы Борис сочувственно, чего это ты сюда забрался? Эх, Боря, Боря, да разве можно являться через тридцать лет и думать, что все шло по восходящей? Если я был тогда молодцом, то так по прямой вверх и должен был возноситься?

— Нет, голубчик, так требовать нельзя, такой номер не проходит!

— Да я с тебя не требую, чего с тебя требовать? — сказал Колесников. — Инструмент ваш как был дерьмовый, так и остается. И за таким дерьмом приходится шапку ломать. Было бы мне куда податься, ты бы меня тут кофеем поил с тортом, дверь бы передо мною открывал, а так я тебя должен в забегаловку водить. Ума много, а все в дураках хожу.

Я открыл было рот, он замахал руками:

— Знаю, знаю. Вы получаете негодный металл, который тоже выпрашиваете, стапки у вас демидовских времен.

Разговор этот у нас повторялся ежегодно. Колесников единственный из заказчиков, который не боялся мне в глаза бранить нашу продукцию. Он честил ее теми же словами, что и я когда-то на закрытых наших совещаниях. Он единственный из заказчиков, кто позволял себе это, на этом мы и подружились. Он приходил в конце дня, и, сделав все дела, мы отправлялись с ним в «Ландыш». Со временем эта церемония вошла в привычку, мы шли туда, независимо от судьбы его заявок, угощал я — за удовольствие послушать правду о качестве, о котором никто не смел заикнуться. Несколько лет назад я затеял битву за качество и, честно говоря, проиграл ее. Никто меня не поддержал. Упрекали в том, что я не патриот своего производства, что я пятая колонна... Колесников у себя на Урале тоже воевал с туфтой и показухой. Съезженный, тщедушный, бледно-синий, словно бы замерзший, он говорил с пылом, не осторожничая, расстояние между мыслью и словом у него было кратчайшим, безо всяких фильтров; он выдавал то, что было у него на уме, в натуральном виде.

— Я вас жду.

Жанна стояла у подъезда между колонн.

— Но я вас предупреждал. Мы с товарищем Колесниковым договорились,— сказал я.

— Господи, да у нас ничего срочного,— перебил меня Колесников, восхищенно уставясь на Жанну. В светло-сером плаще с клетчатым шарфиком она выглядела эффектно.— Мы всего лишь перекусить собрались,— бесхитростно признался Колесников.

— Я бы тоже не прочь,— сказала Жанна,— я проголодалась, если я вам не помешаю.

— Мне нисколько,— поспешил Колесников и посмотрел на меня.

Я пожал плечами.

Малозаметное кафе «Ландыш» не нуждалось в рекламе. Крохотная зеленая вывеска была известна всем, кому надо. Кафе служило прибежищем местным выпивохам среднего слоя, а также обслуживало нашу фирму. Здесь обмывали премии, справляли мелкие юбилеи, обговаривали деликатные дела. Сюда приходили после субботников, перед отпуском, после выговора. Рано или поздно сюда перекантовывались официантки нашей столовой. В «Ландыше» они быстро менялись — хамели, толстели, начинали закладывать, но нас по старой памяти привечали.

Обслуживала Наталья. В прошлый раз один снабженец

из Молдавии щедро отметил свою удачу, и сейчас она подмигнула мне, вспоминая тот шумный заход. Наталья предложила экстра-меню: бульон, сосиски с капустой, бутерброд с чавычей, кофе и, разумеется, бомбу — шампанское с коньяком. Фирменным в этом наборе был кофе, который варили не в большом чайнике, а в джезве.

Поодаль от нас в ускоренном блаженстве опрокидывали свою порцию в честь конца работы разные ханурики. Публика сюда жаловала беззлобная, малоимущая, но обильная душой, здесь всегда можно было найти себе слушателя, чье сочувствие бывает незаменимо.

— Это кто же, новая сотрудница? — без стеснения спросила Наталья.

— Моя личная знакомая, — сказал я. — Приехала сюда закусить из Грузии.

— То-то больно симпатичная. К вам в шарагу такая женщина не пойдет.

Исключив Колесникова, Наталья соединила меня и Жанну оценивающим взглядом, в котором было черт знает что.

Мы ели и пили, Колесников нахваливал Тбилиси, произнес тост за Грузию и грузинок. У них сразу установились легкие, простые отношения.

— В нашем возрасте, когда такая женщина обращается к нам с любой просьбой, это уже счастье, — рассуждал он. — Давайте напоим Дударева, и этот северный медведь расколется. У нас на Урале... — Он нахваливал Урал, нахваливал Грузию, и грубейшие его приемы действовали.

Жанна оттаяла. Ела она с аппетитом, видно было, что проголодалась, и я представил путь, проделанный в Ленинград, хлопоты, очереди, вагонную качку, вагонный коричневый чай (представил именно поезд, а не самолет) — и все для того, чтобы встретиться со мною? Не могло этого быть!..

Она вдруг стала доставать из дорожной сумки баночки, аккуратно закрытые. Баночка с ореховым вареньем — мне. Баночка с инжировым вареньем — Колесникову, по связке чурчелы каждому, мешочек с печеньем, которое она сама пекла, — мне. Тащила и тащила из небольшой сумки, как фокусник. Я стал упираться — да с какой стати, да зачем, да за что, да я сладкого не люблю.

Она с твердой ласковостью пояснила, что если я не люблю, то жена любит, дети любят и вообще нехорошо отказываться, таков обычай.

— Теперь я буду обязан, — сказал я. — Это похоже на взятку.

— Ха, разве взятки такие бывают? — сказала Жанна. — Бы нас обижают.

Колесников даже зааплодировал. Жанна сложила все подношения в приготовленные мешочки с видом Тбилиси. Один мешочек — мне, другой — Колесникову, можно было подумать, что все у нее было предусмотрено, все заранее известно.

— Погодите, — сказал я. — Если этот гостинец предназначен источнику информации, то жив замкомполка по строевой части. Он знал всех офицеров. Он в Ленинграде. Давайте с ним созвонимся, я дам телефон.

Жанна помотала головой:

— Мне не источник информации нужен, мне нужны вы.

— Как это звучит! — воскликнул Колесников.

Он преобразился. Присутствие интересной женщины воодушевило его, заставило забыть о бедах бесхозяйственности, проблемах экономики и прочих любимых его темах. И я тоже подумал о том, как давно я не сидел с женщиной в ресторане, и хотя «Ландыш» не был рестораном, все равно было хорошо, хорошо, что не грохотал оркестр, хорошо, что Колесников разошелся и мне можно было помалкивать.

— Весь почет, вся слава и любовь достается фронтовикам, — говорил Колесников. — Мы, которым было пятнадцать-шестнадцать, оказались в тени, нам достался только комплекс неполноценности. Теперь мне все время приходится объяснять, почему я не был на войне. Мы хватили голода, страха, непосильного труда и взамен ничего не получили. Я мальчишкой работал на Челябинском, орудия собирал, только начал выдвигаться — пришли фронтовики. И так всегда.

— Не завидуйте фронтовикам, — сказала Жанна. — Верно, Антон Максимович?

— Что за страсть оглядываться назад? — сказал я. — Там нет никаких указателей, оттуда нет помощи.

— Скудный человек, не ценит вас. А вы слушаете его, а не меня. Потому что он фронтовик... Я понимаю, господа, я вам мешаю. Жанна, опровергните меня.

— Зачем опровергать? — сказала она. — Вы тонко чувствующий человек.

— Выставляете? Учись, Антон, как можно изящно проваживать людей. Но прежде я хочу выпить за женщин. Они выше нашего понимания. Логикой их не вскрыешь. Им лучше ввериться, идти за женщиной, как за охотничьей собакой, она тебя приведет.

Жанна прищурилась так, что Колесников смутился и выпил свою рюмку не чокаясь.

После ухода Колесникова я налил себе полфужера шампанского и долил коньяком. Этого должно было хватить.

При Колесникове все было проще и легче. К счастью, Жанна больше не спрашивала про Волкова. Она показывала мне письма и открытки Бориса. Их было много. Они могли составить целый сборник, кнжицу типичных лейтенантских писем. Я сразу подумал о своих письмах той девице, забавно, если они у нее сохраняются, перетянутые такими же резинками от лекарств.

Первая открытка, написанная химическим карандашом, гласила:

«Привет с Ленинградского фронта! Здравствуйте, Жанна! Вы с удивлением возьмете эту открытку... Невольно подумаете, кто ж это написал. Объясняю. Я увидел Вашу карточку у моего друга по борьбе с немецкими оккупантами Гогоберидзе Аполлона, Вы его хорошо знаете, и я не мог ее выпустить из рук. Не отрываясь я смотрел на Вас. Кровь закипала в жилах, смотря на Ваши прелестные черты...» И дальше катил в том же духе. Не мудрствуя лукаво, он брал быка за рога: «Эта открытка является залогом к дружбе с тобой, Жанна, много писать нет необходимости, т. к. нет ясности в нашей связи».

Начал на «вы», кончил на «ты».

Писарский, ровно бегущий, без помарок почерк.

«Здравствуй, милая Жанна! Отвечаю на твое письмо, не задерживаясь ни минуты. Я живу в настоящее время в горячих условиях войны, переднего края фронта... В конце своего письма ты вскользь намекнула о воздушных поцелуях. Ты глубоко ошиблась. К сожалению, мне некому их посылать. Товарищей очень много, а друзья все моего пола. И если ты так холодно приняла мой скромный дар, то это твое личное дело, и впредь я буду более благоразумный. Аполлон находится от меня в некотором отдалении. Все-таки, Жанна, я крепко надеюсь и с нетерпением жду благоприятного ответа и фото».

— Зачем вы их хранили?

— Не знаю. Может, для сравнения.

— Сравнения?

— Вы читайте.

— Кто это, Аполлон?

— Гогоберидзе. Может, помните? Высокий красивый мальчик с усиками. Он почти рядовым был. У него тре-

угольник был или два.— Она помолчала.— Жених он был моей подруги. Мы втроем там на фото: Нино, я и он.

— У вас есть эта фотография?

— Где-то была...— Она стала перебирать бумаги.— Аполлон вскоре погиб. Его тяжело ранило в наступлении в октябре сорок второго года. И он умер через три дня.

— В октябре сорок второго? Что за наступление? Наверное, в сентябре.

— Нет, в октябре. Это точно.

— Не могло этого быть!

— Вы сами сейчас прочтете. Тогда пришла официальная бумага.— Она смотрела на меня с подозрением.

— Ладно, разберемся,— сказал я. Что-то тут было не так, но я не стал торопиться со своей правотой.

«Получил твое длинное письмо. Мне очень понравилось, как ты прямолинейно и действительно жизненно ответила на мои вопросы. Раз я могу надеяться, мы должны продолжать переписку и возможно лучше узнать внутренний мир друг друга. Правда, я не имею пока возможности писать подробно. Фотокарточку пришлю, как только снимусь, т. е. смогу отлучиться с передовой. Национальные отличия меня несколько не смущают, я сужу по Аполлону, с которым мы в оч. хор. отношениях. Я вообще не знаю, какую роль может играть национальность в любви. Аполлон сильно ранен, не знаю, куда его отправили и жив ли он. Пиши чаще, письма дают моральную поддержку».

У нас в роте были узбеки, двое, это я точно помню. Они говорили между собой по-своему. Поэтому и помню. А других национальностей не помню, мы тогда начисто не интересовались этим вопросом.

— Жаль, что нельзя прочитать ваши ответы,— сказал я.

— Они к делу не относятся.

— К какому делу?

— К моему.

Наталья принесла еще кофе.

— Вы мне морочите голову,— сказал я.— Так же, как морочили бедному Борису.

— Откуда вы знаете, что я морочила. Он вам рассказывал?

— Нет, об этом легко догадаться.

— Неизвестно, кто кому морочил. Разве вы не видите по его письмам? Он не вкладывал ни труда, ни трепета.

— Трепета? — Это слово меня озадачило. Наверное, я